



П. Ф. АРЗУБЬЕВ <П. К. ГУБЕР>

А. Ф. Керенский на фронте

С А. Ф. Керенским по Северному фронту

Прежде всего, кто он? Простая «математическая точка русского бонапартизма», как выразился однажды Троцкий, или же воистину муж рока, провиденциальное лицо, имеющее власть, силу и желание разорвать порочный круг трагических противоречий, в которых мы все запутались. Над этим вопросом ломает нынче голову вся грамотная Россия. И далеко не праздным является то напряженное любопытство, с которым общество следит за каждым шагом, за каждым словом Керенского. Потому что как бы ни относиться к нему, он, во всяком случае, есть последняя ставка революционной государственности. Если его свалить или он сам свалится, то русская революция и русская государственная идея будут окончательно разделены. Тот разрыв между ними, который уже совершился в известных слоях, пройдет сверху до низу, через всю толщу всенародного целого. И тогда уж не миновать нам ни кровавой анархии, ни суровой диктатуры, ни монархической реставрации в той или иной форме.

Я не могу и не желаю в настоящее время решать, пригоден ли Керенский для той исключительно ответственной исторической роли, которая досталась ему. Не знаю даже, хватит ли у него просто физических и нервных сил, чтобы довести до конца предпринятый им Геркулесов труд оздоровления армии. Вместо прямого, краткого ответа на поставленные выше вопросы я хочу предложить читателю несколько личных, непосредственных впечатлений, вынесенных из поездки с военным министром в Ригу и в Двинск.

I Отъезд

Двадцать второго мая, одиннадцать часов вечера. На Варшавском вокзале в Петрограде, у одной из боковых платформ, собрались проводить министра нынешние сущие власти, который не от Бога и не от царя, но от революции и от народа учинены суть. Петроградский главнокомандующий генерал Половцев¹ и его помощник — поручик Козьмин². Товарищ министра адмирал Канин³. Известный оратор-самородок — черноморский матрос Федор Баткин. Члены Исполнительного Комитета солдатских и рабочих депутатов, едущие на армейский съезд в Ригу.

Военный оркестр. Караул семеновского полка. Толпа любопытных, — солдат и вольных, которые, вытянув шеи, замерли в напряженном, внимательном ожидании.

Причудливое смешение старого с новым. Эти бравые, молодые фельдъегеря разъезжали с великим князем Николаем Николаевичем⁴ в то время, когда поручик Козьмин еще томился в каторжной тюрьме. Эти медные трубы оркестра так часто гремели во славу Николая второго. И эти винтовки тем же отчетливым автоматическим движением взлетали на караул, когда появлялся Сухомлинов или Шуваев.

Звук автомобильного гудка. Полосы яркого света падают на мостовую. Раздается команда, толпа замирает, и на платформу поднимается Керенский.

Он идет стремительной, прыгающей, необычайно быстрой походкой, так что лица свиты и особенно некоторые тучные генералы должны следовать за ним рысью.

Недаром охранники, в свое время следившие за ним, дали ему кличку «Скорый». Одет он в полувойенную форму: рыжий «френч», вроде того, какой носят французы; на ногах желтые гетры; на голов мягкая фуражка без кокарды.

«Высшая власть в куртке и без оружия», — выразился о самом себе Керенский в одной из своих речей.

Но эта безоружная власть намерена стать настоящей, подлинной властью.

Существующие в продаже портреты очень несовершенно передают внешность нового военного министра, потому, быть может, что все они, за малым исключением, относятся к сравнительно давним годам, к началу третьей Государственной думы. Теперь мы уже

не видим этого женоподобного лица, с выражением застенчивости и затаенной мечтательности. Черты стала резче, грубее, мужественнее. Но мимика богата и выразительна, как и прежде.

Говорят, Керенский — больной человек. У него туберкулез почек. Одна почка уже вырезана⁵. Он держится лишь непрерывным нервным подъемом. И когда этот подъем в силу естественных физиологических причин кончится, то прервется и политическая карьера народного трибуна.

Не знаю, может быть, и так. Но, по внешности судя, Керенский не производит впечатления болезненности.

Он не кажется даже утомленным, хотя с самого конца февраля не имел ни одного дня полного отдыха. Лицо обветренное, покрытое здоровым загаром — результат частых и долгих поездок в автомобиле.

Оркестр играет марсельезу, потом вдруг замолкает. Среди мгновенно наступившей тишины раздается резкий металлический голос:

— Здравствуйте, товарищи!

Ничего музыкального в этом голос. Словно лязг железа слышится в нем и бряцанье оружия. Семеновцы отвечают дружно и громко. Толпа кричит «ура». Снова марсельеза.

Керенский садится в вагон. Мы отъезжаем.

Марсельеза и крики «ура» встречали и провожали нас на всех сколько-нибудь значительных станциях. В Вольмаре, Валке, Вендене, Витебске и Смоленске — всюду церемониал встречи был одинаков. Железнодорожные платформы, залитые народом и солдатами, гирлянды людей на крышах и на заборах, депутации с плакатами и со знаменами. Некоторые из этих плакатов, судя по надписям, остались еще со дня празднования первого мая; другие были приготовлены специально для данного случая. Попадались среди надписей и довольно наивные, как, например: «Да здравствует солнце России Керенский!» или же не совсем подходящие для встречи верховного вождя всей русской вооруженной силы: «Да здравствует всеобщее разоружение!». Плакатов, гласивших: «Долой войну!», я не видал вовсе.

Керенский выходил из вагона, выслушивал приветствия и произносил речь, всюду приблизительно одну и ту же. Он говорил, что русская армия теперь самая свободная армия в мире и что русский солдат и офицер имеют теперь такие права, каких нет ни у одного солдата и ни у одного офицера в самых передовых странах. Нужно оказаться достойным этой свободы и прочно ее закрепить. Временное правительство делает все, чтобы покончить нынешнюю

войну миром, достойным свободного государства. Но дабы достигнуть этой цели, ему необходимо опереться на организованную силу и внушать уважение друзьям и страх врагам. Разложение армии — вот главное препятствие для заключения мира. Армия свободного народа должна быть организованнее и сильнее старой, царской, подневольной армии.

Красноречие Керенского — красноречие своеобразное. Оно не совсем подходит для чисто-народной и чисто-солдатской аудитории. Слишком много иностранных слов употребляет военный министр, чересчур отвлеченно выражает он свою мысль. Поэтому, думаю я, точный смысл его речей остается недоступен огромному большинству солдат. Но помимо словесного содержания, всякая речь действует еще своей внешней экспрессией. Она порой заражает слушателя настроением, однородным тому, которое владеет оратором, даже в том случае, когда слова остаются непонятыми. И Керенский — великий мастер сообщать психическую заразу внимающей ему массе.

Не однажды наблюдал я, как праздное и равнодушное любопытство толпы, вышедшей поглазеть на нового министра, сменялось бурным энтузиазмом после нескольких фраз, им произнесенных. А между тем в этих фразах не было никаких демагогических лозунгов, которые могли бы понравиться малосознательным людям, никаких заманчивых и подкупающих обещаний. Керенский очень редко говорил о земле, долженствующей перейти к крестьянам, и никогда не обещал заключить скорый мир во что бы то ни стало. Наоборот, он всегда требовал дисциплины, самоотвержения и сознания долга. И, однако, слова его действовали зажигающим образом. Они прогоняли ту мертвенную тусклую апатию, которая, к несчастью, владеет сейчас и отдельными солдатами, и даже некоторыми войсковыми частями целиком, и является главным врагом русской армии, врагом, более опасным, нежели немцы, и более коварным, нежели самый оголтелый большевизм.

Дар выводить толпу из привычного состояния духовной инерции, дар, свойственный всем выдающимся народным вождям, несомненно, имеется у Керенского. В этом главный залог его успехов, настоящих и будущих.

Но сила его основывается еще и на другом. Стараясь уловить, на кого опирается в армии военный министр, я подметил одно, достойное внимания, обстоятельство.

Имя Керенского популярно не столько среди темных и безграмотных рядовых солдат, легко становящихся добычей первого

ловкого агитатора, сколько среди солдатской интеллигенции, среди тех, кого можно назвать третьим элементом в армии; таковы: вольноопределяющиеся, солдаты, прошедшие народную школу высшего типа, ротные фельдшера, прапорщики, вышедшие из крестьян и рабочих, и наконец, огромный процент среди молодых офицеров вообще. Эти люди, возглавляющее большинство комитетов — полковых, дивизионных, корпусных и армейских, всего тверже стоят за Керенского. И именно они относились к бывшему министру А. И. Гучкову с затаенным недоверием. Сейчас не время разбирать, насколько уместно и обосновано было такое недоверие. Но факт остается фактом. Гучкову они не верили, а Керенскому верят. В их среде он вызывает восторг, граничащий с обожанием. И главным образом к ним обращены были его наиболее содержательным речи, произнесенные на армейских съездах в Риге и Двинске. Стоит отметить, что инициатива всех чествований, которыми был встречен Керенский, всецело принадлежала военным комитетам.

Адъютант военного министра говорил мне, что Керенский несколько тяготится непрерывными овациями. Эта помпа, этот постоянный торжественный праздник, среди которого он вынужден жить и действовать, не слишком радуют его. Ему было бы приятно, если бы его личность вызывала поменьше восторгов.

Такая скромность, конечно, очень похвальна. Однако Керенский, быть может, и не совсем прав в данном случае. Законы коллективной психологии неизменны, и бороться с ними бесполезно. Даже объединяясь во имя идеи, толпа всегда ищет героя, чтобы поклониться ему. Культ героев есть неуничтожимая потребность человеческой природы. Керенский, против своей воли, стал предметом такого культа. Людям, которым трудно было бы столкнуться на почве той или иной программы, в живой и конкретной личности народного военного министра увидели воплощение чаяний и своих надежд. И это дало ему силу, какой еще ни один человек не имел в России с тех пор, как началась революция. Силою этой надо дорожить! Эту силу необходимо целесообразно использовать для обороны страны и для воссоздания боевой мощи русской армии.

Мы подъезжаем к Риге. Красные полотнища реют над безбрежным морем голов. На деревьях видны забравшиеся туда солдаты. Марсельеза, опять марсельеза, эта песнь каннибалов, по выражению одного пацифиста. Но сегодня для пацифистов «во что бы то ни стало» день вообще не особенно удачный.

II

В окопах

В Риге Керенский, если так можно выразиться, несколько подвел лиц, его сопровождавших. Для министра и его свиты были поданы автомобили к главному вокзальному подъезду. Но он вместо этого вышел боковым ходом и тем спутал все расчеты. Получился некоторый беспорядок.

Толпа перед вокзалом была так густа, что меня моментально оттерли. К тому же цепи солдат, протянувшиеся вдоль улиц, не выдержали местами напора и разорвались. Людской поток хлынул с тротуаров на мостовую и помчал меня куда-то, как щепку, подхваченную волнами.

Это было совсем скверно. В Ригу я попал впервые, города не знал, и программа дня оставалась мне совершенно неизвестной. Керенского я потерял из виду. Толпа мчалась куда-то. Одни говорили, что министр направился в окружный суд, другие, что — в Совет солдатских депутатов, третьи божились, что его ждут в доме командующего армией.

Из всего этого с необходимостью вытекало одно: блуждая бесполезно по Риге, я упущу случай видеть, как Керенский объезжает окопы, т. е., иначе говоря, главная цель моей поездки не будет достигнута, потому что мне хотелось видеть его именно в окопах, лицом к лицу с серым окопным жителем, а не среди праздничных ликований большого города, не в шуме и блеске официальных парадных встреч.

Из затруднения меня вывел матрос, член Искосолы (так называется в Риге местный Исполнительный комитет солдатских депутатов). Поглядев на мое удостоверение, он схватил меня под руки и по меньшей мере в течение получаса буксировал сквозь плотную, как пробка, людскую массу, прокладывая дорогу локтями, плечами и даже головой. Таким образом я наконец очутился перед каким-то зданием. Керенский был здесь. Стоя на балконе, он говорил речь народу. Но подойти к нему поближе не представлялось уже никакой возможности.

— Через полчаса министр уезжает на позицию, — сказали мне, — на Пулеметную Горку или в Берземюнде. Куда именно, это еще не решено окончательно.

— Но я тоже хочу ехать. Я обязательно хочу ехать.

— А вы обратитесь к Нэхо. Нэхо вам устроит!..

Нэхо — это не египетский фараон, современник Иосифа Прекрасного, как может думать наивный человек, знакомый с начатками египтологии. Это просто на просто сокращенное для телеграфических целей наименование начальника этапно-хозяйственного отдела штаба армии.

Нелегко было разыскать Нэхо среди всей этой толчеи. К счастью, мне это удалось. Генерал очень любезно отнесся к моей просьбе и помог мне устроиться в один из автомобилей. И вот среди бури приветственных кликов и целого смерча фуражек, взлетающих кверху, мы отъезжаем, хотя и не без труда, так как солдаты густо облепили автомобиль, забрались на подножки и на крылья, желая во что бы то ни стало следовать за Керенским. Насилу можно было убедить их, что никакая машина не выдержит такого числа пассажиров.

Наконец толпа выпускает нас из своих жарких, но несколько стеснительных объятий. Перед нами мост через Двину и далее шоссе, обсаженное деревьями. Как выясняется, мы едем к Берземюнде.

На позицию разрешено следовать только трем машинам одновременно. Больше число их может, чего доброго, привлечь артиллерийский огонь противника. Впереди всех едут председатели офицерского и солдатского комитетов армии. За ними, на некотором расстоянии Керенский с генералами Драгомировым⁶ и Радко-Дмитриевым. Мне удалось попасть в третий автомобиль. Мой спутник, вольноопределяющийся, секретарь Искосолы, рассказывает мне о положении дел в Риге.

Армия, обороняющая рижский боевой участок, принадлежит к числу наиболее организованных. Солдатский Исполнительный комитет возник в первые дни революции при полном сочувствии и поддержке генерала Радко-Дмитриева. Благодаря этому, отношения между высшим командным составом и выборными органами, так трудно налаживавшиеся в других местах, здесь сразу стали нормальными. Ныне комитет вершит все внутренние дела армии. Большевики существуют и в городе, и в войсковых частях. По мере сил они мешают организационной работе. Но их очень немного, и потому бороться с ними сравнительно легко.

— А братание?

— Братание прекратилось. Полковые комитеты единодушно высказались против него.

Кругом, по обе стороны шоссе, знакомая картина близкого тыла. Она так мало изменилась с приснопамятного страшного лета 1915 года. Лазаретные бараки с флагом Красного Креста, обозные

коновязи, двуколки, расставленные рядами и убранные еловыми ветками, чтобы не видно было немецкому авиатору бомбометчику.

Все поля сплошь засеяны до самых окопов. Там, где не хватало рабочих рук у местных крестьян, потрудились солдаты.

В одном месте я обратил внимание, что сбоку, вдоль шоссе, с одной стороны его расставлены деревянные щиты.

К чему? Оказывается, мы уже в линии артиллерийского обстрела, и щиты должны скрывать движение по дороге от глаз немецких наблюдателей.

А вот и наглядные следы действия артиллерии: каменное здание корчмы больше, чем на половину, разбито артиллерийскими снарядами. Уныло торчат обнаженные стропила. Совсем как два года назад под Варшавой и под Ломжей.

Здесь мы оставляем автомобиль. Со своею всегдашнею прытью Керенский мчится по дорожке, ведущей к ходу сообщений. Число его спутников растет с каждым шагом. Появились командир корпуса, начальник дивизии, чины их штабов. Со всех сторон подбегают солдаты. Напрасно генерал Радко-Дмитриев уговаривает их разойтись, чтобы не привлекать внимание немцев. Отойдут немного, а затем снова лнуть поближе к Керенскому и смотрят на него с жадным, неотступным вниманием.

У одного из солдат на голове шлем французского образца. Керенский заинтересовался шлемом. Берет его и взвешивает на руке.

— Что, не тяжело? — спрашивает он.

— Никак нет. Носить можно, ваше... — солдат запнулся, не зная, какой титул следует дать этому невиданному гостю окопов, которого все встречают с таким почетом. — Очень даже легко носить, господин генерал.

— И не генерал, а товарищ, — поправляет его Керенский.

Солдат весь расплылся в смущенную улыбку. Он берет из рук министра свой шлем с осторожностью, словно какой-то очень хрупкий и ценный предмет, и долго не решается надеть его обратно на голову.

Все дальше и дальше втягивается в ход сообщений наша вереница. Идем лабиринтом вдоль узкого земельного коридора с осыпавшимися кое-где стенками. Наконец стоп: передовая застава на Бальдонском шоссе. Дальше идти некуда. Только проволока отделяет нас от нейтральной зоны, на противоположной окраине которой укрепились немцы.

На бруствере окопа устроена небольшая площадка, где могут поместиться сидя два человека. Туда взбираются Керенский и Радко-Дмитриев.

— Но позвольте, генерал, где же неприятель?

— А вон там, видите, впереди леса валик. Шагов с тысячу отсюда.

Керенский приподнимается. На лице его выражение молодого, совсем не министрабельного любопытства. Он заглядывает в ту сторону, где видна и сквозь бойницу желтеет узкая полоска вражеской насыпи.

Но Радко-Дмитриев заставляет его опуститься. Он, храбрейший из храбрых, имеет право напомнить об осторожности. Правда, риск не велик, но все-таки...

Впрочем, немцы хранят сегодня мертвое молчание. Ни одного выстрела оттуда. Только в тылу у нас изредка стреляет наша батарея, как бы приветствуя нового министра, посетившего боевую линию.

И я смотрю сквозь бойницу по тому направлению. За этим валиком засели германцы — Фрицы, Карлы, Августы — наши немецкие братья, по выражение «Правды». Что-то поделявают они сейчас? Дремлют спокойно, уверенные в нашей неизлечимой глупости, или с тревогою и недоверием ждут, какую новую штуку выкинем мы на удивление Европы и всего мира!

III

Камаринский мужик

Керенский говорил свои речи и в окопах; конечно, тыловых, а не первой линии. Странно звучали знакомые и уже начавшие казаться трафаретными фразы среди блиндажей и землянок, под аккомпанемент пушечных выстрелов, в какой-нибудь версте, а то и менее, от насторожившегося врага. Солдаты по большей части слушали министра с явным одобрением. Но один раз он натолкнулся на оппозицию. Этот случай уже рассказан был в агентских телеграммах. Однако он, этот случай, так характерен, так, можно сказать, символичен, что мне хочется вернуться к нему, хочется передать не только голый скелет фактов, но изобразить также тот психологический фон, на котором он разыгрался.

Дело было так: особый полк считался в числе «больных» полков. Здесь имели место случаи братания; здесь усиленно распространялась «Окопная правда»⁷. Поэтому полк требовал особого внимания.

Впрочем, с первого взгляда на выстроившихся к приходу министра солдат трудно было заметить что-либо ненормальное. Типичная пехотная часть военного времени. Выправка у людей не важная, вид мешковатый, отнюдь не воинственный. Однако такие самые полки умели год и два назад храбро драться и безропотно умирать при

полном отсутствии снарядов, при нехватке патронов, при наличии безоружных команд в близком тылу, так как винтовок не доставало почти для трети людского состава. Они ходили в атаку, штыками выбивали немцев из окопов, захватывали орудия, брали пленных. И в это время никто не обещал им ни земли, ни воли; дисциплина зиждилась на кулаке, а боевой пыл подогревался нагайкой.

Солдаты довольно дружно ответили на приветствия Керенского. Он пожал руки офицерам и членам полкового комитета и велел остальным солдатам подойти поближе. Они расположились вокруг него плотным кругом. И он стал говорить.

Говорил он все о том же: как досталась нам милая, долгожданная свобода и как надо ее беречь, укреплять и защищать, добровольно подчинившись разумной дисциплине, не страхом, но сознанием долга.

Когда он кончил, какой-то солдат, из стоявших в первом ряду, спросил:

— А дозвоьте узнать, что нам делать, чтобы закрепить эту самую свободу? Быть может, наступать следует?

Вопрос был задан мирным, спокойным, нисколько не вызывающим тоном. И тем не менее сердце дрогнуло от какого-то недоброго предчувствия. Не у меня одного, я в том уверен. Сотни глаз впились в вопрошавшего.

Кто таков он был? Он не походил на озлобленного, нафантазированного рядового большевика — тип, хорошо знакомый петроградской улице. Вид у него был самый заурядный, крестьянский. Так себе, мужичок-серячок, но с хитрецей. Камаринский мужик, — мысленно определил я его. Такие любят пошуметь и погорланить на сходах или посутяжничать у земского начальника из-за какого-нибудь вздора.

Керенский объяснил, что закрепить свободу — это, прежде всего, значит организовать. Надо избрать комитеты — ротные, полковые, дивизионные. Эти комитеты станут решать дела совместно с командным составом. И если окажется, что наступление необходимо, то придется и наступать.

— Коли будем наступать, — промолвил солдат спокойно и убежденно, — то все пропадем. А мертвым зачем она, эта свобода? Мертвым ни земли, ни свободы не надо.

Керенский отшатнулся, словно его ударили по лицу. Дрожь пробежала среди присутствующих.

В самом деле, становилось жутко: здесь находился главнокомандующий, здесь находился командующей армией. Каких-нибудь дней

сто назад никто моргнуть не смел в их присутствие. Солдат, дерзнувшей произнести слова, подобным тем, которым только что раздались, был бы вычеркнут не только из списков полка, но и из списка живых. И заметьте, не только у нас, в прежней царской армии, было бы так, но во всех армиях мира, у наших союзников и у наших врагов.

Впрочем, что генерал! О генералах ли думать теперь! Здесь находился Керенский — живое воплощение победоносной революции, высший носитель революционной власти в армии. Если он уйдет отсюда униженным и посрамленным, то, значит, вся революция русская — пух, чушь, ерунда, сапоги всмятку. Значит, наша революция есть никуда негодная, прогнившая ветошь, и первый встречный камаринский мужик вправе плевать на нее, сколько ему вздумается.

Керенский и солдат стояли лицом к лицу. Представитель идеи и представитель утробы, они мерили друг друга взглядами, как перед поединком.

— Товарищи!.. — начал было Керенский.

— Чего тут толковать! — закричал солдат резко и грубо, совсем не так, как он говорил перед тем. — Мир надо заключать поскорее, вот что!

Чьи-то сочувственные голоса забормотали в задних рядах. Еще мгновение — и камаринский мужик одержит победу над русской революцией.

— Молчать, когда говорить военный министр!

Все стихло, насторожилось, замерло. Казалось, можно было различить, как учащенно бьются сердца.

— Господин полковник, — сказал Керенский, задыхаясь, — возьмите этого человека...

«И расстреляйте его», — напрашивалось на ум невольно. Настроение минуты было таково, что никто не удивился бы, услышав такие слова. Но нет:

— ...И завтра же отдайте в приказ, что он изгоняется из рядов русской армии. Он трус. Он не достоин защищать русскую землю. Он может идти домой.

Целый поток фраз, резких и жестоких, как удары хлыста. Трус, трус, трус! Керенский повторял это слово с каким-то бешеным упованием. Лицо солдата помертвело, сделалось землисто серым. Он стал оседать в бок, все дальше вбок и, наконец, тяжело грохнулся на землю.

— Валяет дурака, — крикнул кто-то.

Но это было не так. Солдат находился в глубоком обмороке.

На сей раз идея победила утробу. Революция низвергла во прах камаринского мужика.

В ту минуту я впервые поверил, что дисциплину можно восстановить без насильственных мер, одним словесным воздействием. К чему насилие, если простое слово валит с ног здоровеннейшего детину. Только, к несчастью, не всем дано произносить такие слова.

Керенский стоял весь в поту. Видно, и ему победа обошлась недешево. Но впечатление, произведенное этим событием на остальных солдат, было огромно. *** полк выздоровел. Называть его «больным», вероятно, уже более не придется.

И, однако, оппонент Керенского ведь был прав по-своему. Утроба имеет свою особую непобедимую логику.

Мертвым свобода, действительно, не нужна, и доказать необходимость личного самопожертвования доводами рационального порядка, в самом деле, невозможно.

Но зато если бы все люди всегда и во всем руководствовались исключительно рациональными соображениями выгоды и пользы, учебная команда Волынского полка не вышла бы на улицу 27 февраля. Другие гвардейские части не примкнули бы к ней, Николай II царствовал бы поныне.

И камаринский мужик послушно вытягивался бы в струнку перед начальством, стиснутый ежовыми рукавицами старой, испытанной дисциплины.

IV

*Презрительный Ферсит*⁸

Таковой имеется в армии Русской Республики, как был он и в стане Агамемнона под Троей⁹...

Не один, но во многих ликах. На всем тысячеверстном пространстве, от устья Двины до устья Дуная заметны признаки его высоко-полезной революционной деятельности.

Обычно Ферсита называют большевиком. Это крылатое словечко привилось даже там, где никогда не слыхали о том давнем съезде р. с. д. р. п., на котором большинство впервые откололось от меньшинства.

Сам Ферсит иногда отрекается от такого наименования. Называет себя эс-эром, сторонником левого крыла партии, либо меньшевиком-интернационалистом.

Но во всех случаях он — пораженец, убежденный, последовательный и принципиальный; приемлет поражение, как уже

совершившийся факт; призывает его в будущем, как желанный конец европейской войны; а в настоящем трудится, не покладая рук, чтобы сделать немецкую победу прочной, неизбежной, непоправимой. В его затаенном пораженческом пафосе есть что-то истерическое, что-то родственное психологии так называемого мазохизма.

Во время своей последней поездки на фронт Керенский дважды дал генеральный бой пораженцам. Впрочем, говоря военным языком, бой этот был односторонний.

Верные своей тактике гверильясов¹⁰, всегда нападающих неожиданно и из засады, пораженцы уклонились от состязания и не подняли брошенной им перчатки.

На армейском съезде в Риге выступил местный Ферсит — господин в солдатской форме, но с явными признаками своей принадлежности к сословию присяжных поверенных. Постоянный сотрудник «Окопной правды» — газеты, ежедневно уличающей Керенского в явной измене делу революции, — он говорил медовые речи.

«Дорогой Александр Федорович, я вас знаю; я вам верю. Я убежден, что вы приложите все усилия, дабы провести в жизнь демократизацию армии. Но удастся ли вам это? Ведь дисциплина разрушена, а без дисциплины не может существовать ни одна армия (sic!). Наш солдат темен и неразвит. Слишком долго придется ожидать вам, чтобы на место старой подневольной дисциплины возникла новая сознательная дисциплина по образцу французской либо английской армии. Чтобы восстановить дисциплину, надо нашему солдату пообещать разные немедленные материальные блага. А так как обещаниям буржуазных министров никто не поверит, то следует образовать чисто социалистическое правительство».

И так далее в том же духе. Для финала — вновь поток комплиментов и рука, протянутая для рукопожатия.

Керенский комплименты выслушал и руку пожал. Зато и отдал же он потом неожиданного защитника строгой дисциплины. Эта речь на армейском съезде, бесспорно, относится к числу лучших его речей. Он поставил все точки на *i*. Бесчестные приемы политической борьбы он и назвал бесчестными, клевету не постеснялся наименовать клеветой.

— Ваше торжество было бы воистину торжеством самодержавия, и вместе с тем торжеством глупости, — прогремел он по адресу пораженцев при оглушительных рукоплесканиях всего съезда.

Однако провозвестника «Окопной правды» он не смутил. Эти господа вообще ни при каких обстоятельствах не смущаются.

Потерпев афронт в одном месте, они твердо помнят, что на завтра, перед лицом другой, менее сознательной аудитории, им уготован блестящей реванш. Их общее, постоянное правило: не связываться с сильными противниками и расставлять западни своей пропаганды для тех, кто безоружен и беззащитен в умственном отношении. Как известно, такого правила придерживается сам Ленин.

За последнее время его усвоили и систематически применяют и рядовые пораженческие агитаторы.

Еще большую способность приспособляться к обстановке показал другой Ферсит, молодой врач, состоявший, как врачу и подобает, делегатом «больного» 19 корпуса и вынужденный выступить на армейском съезде в Двинске. Я говорю «вынужденный» потому, что гражданин доктор на первых порах обнаружил явное намерение улизнуть.

Когда Керенский бросил вызов пораженцам и предложил всем, кто с ним не согласен, подняться на трибуну для защиты своих взглядов, доктор долгое время медлил: настроение съезда было слишком уже недвусмысленное. Но тогда среди солдатских делегатов стали громко называть его фамилию. Послышались грозные крики: негодяй, трус, провокатор! Предмет всех этих лестных эпитетов наконец появился. Маленький, невзрачный человек, он зачирикал, как воробушек, о своем безусловном доверии к Керенскому.

— Я знаю, гражданин министр, — сказал он, между прочим, — что вы совсем не таковы, каким изображает вас буржуазная печать.

Этот выпад против печати был единственным проблеском большевизма, который позволил себе автор резолюции, гласившей, что русская армия палец о палец не ударит, пока союзники не откажутся от захватных целей войны.

В данном случае, как и во всех прочих, Ферсит остался верен своей природе, одновременно блудливой и трусливой. Он не посмел высказаться открыто. Однако не следует думать, что постыдная капитуляция на армейском съезде заставила его сложить оружие у себя, в своем корпусе, в своем полку.

Всюду, где существуют хотя бы в зачатке элементы организованного мнения армии, Ферсит неизменно встречает отпор. Я не бывал за это время на других фронтах, но меня уверяли, что там происходит то же самое, Ферсит не имеет никакого авторитета в глазах действительно сознательной части солдат. Поэтому он предпочитает действовать по мелочам, раздувает отдельные местные конфликты, не упускает ни одной возможности поколебать авторитет начальствующих лиц и выборных войсковых органов.

Главная сила Ферсита в невежестве солдатской массы. Его гвардию составляют камаринские мужики. Но сила эта непрочная и всецело отрицательная. В армии нет ни одной организованной и действительно боеспособной части, на которую Ферсит мог бы опереться. Камаринские мужики согласны идти за ним лишь до известного предела, ибо революционное настроение их исчерпывается желанием поскорее вернуться домой.

Окончательное дискредитирование Ферсита есть лишь вопрос времени. Но пока он приносит весь максимум вреда, для него доступный. Если бы в нашей армии свирепствовала эпидемия тифа или холеры, то это было бы немцам менее выгодно и приятно, нежели планомерная, систематическая работа Ферсита.

До сих пор с Ферситом боролись исключительно речами и резолюциями. Пробовали усовестить и образумить его. С таким же успехом можно было бы пытаться обезвредить ядовитую бактерию, читая ей популярный лекции на вечерних курсах. У Ферсита нет ни разума, ни совести, нет ничего за душой, кроме извращенной страсти ко лжи и к политическому жульничеству. Называть его демагогом было бы даже как-то неприлично. В этом наименовании для него слишком много чести. Он просто-напросто шептун, наговаривающий в уши темных, безграмотных людей слова, полные обмана и клеветы. Как ни плохи столичные главари нашего большевизма, они все же головой выше своих агентов на местах.

Среди главарей есть все-таки фанатики ложной идеи, мрачные и трагические изуверы. Но ученики их в действующей армии, за малым исключением, нравственная мелочь и дрянь, почему немного стыдно становится при мысли, что с ними так долго не могут справиться.

